

И.А. Айзикова

Томский государственный университет

**«Мемуары» В.Н. Головиной как «до-текст»
петербургского текста русской литературы**

Аннотация: В статье поставлена проблема генезиса «петербургского текста» русской литературы. В качестве одного из его источников рассматривается мемуарная литература, в частности, «Мемуары» В.Н. Головиной. Выявляются и анализируются особенности, которые позволяют говорить об этом произведении как о «до-тексте» (термин В.Н. Топорова) петербургского текста отечественной словесности XIX в., созданном в сложный период ее перехода из века Просвещения в век сентиментализма и романтизма.

The article states the problem of «the St. Petersburg text» genesis in the Russian literature. The memoirs are considered as one of its sources, in particular, «Memoirs» by V.N. Golovina. The peculiarities which permit to speak about that writing as a «pre-text» (V.N. Toporov's term) of the of St. Petersburg text in the Russian literature of the XIX century are revealed and analyzed. It was created in its complex transition period from the Enlightenment epoch to the epoch of Sentimentalism and Romanticism.

Ключевые слова: петербургский текст, до-текст, В.Н. Головина, мемуары.

«The St. Petersburg text», «pre-text», V.N. Golovina, memoirs.

УДК: 821.161.1-94.

Контактная информация: Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ, филологический факультет. Тел. (3822) 534079. E-mail: wand2004@mail.ru.

Вводя в литературоведение понятие «петербургский текст» и понимая под ним «некий синтетический свертхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели», В.Н. Топоров в своей работе «Петербург и Петербургский текст русской литературы» пишет, что «Петербургский текст может быть определен эмпирически указанием круга основных текстов русской литературы, связанных с ним, и соответственно хронологических рамок его» [Топоров, 1995, с. 277]. Начало петербургского текста ученый относит к 20–30-м гг. XIX в. и связывает с сочинениями Пушкина, а его развитие – с петербургскими повестями Гоголя. Это утверждение, по мнению исследователя, не отменяет проблемы генезиса петербургского текста. «Петербургская тема в литературе XVIII в. – первой четверти XIX в., строго говоря, к Петербургскому тексту не относится, хотя ее разработки (образ идеального Петербурга, чудесного города, вызывающего восторженные чувства) были учтены в Петербургском тексте, особенно в той его части, которая относилась к “светлому” Петербургу, но основательно переработаны. Особое значение для Петербургского текста имели те произведения, которые цитатно или в виде реминисценций отразились позже в текстах, принимавших участие в формировании самого Петербургского текста», – отмечает Топоров [Там же, с. 337] и далее называет статью К.Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», идиллию Н.И. Гнедича «Рыбаки», широко использованные, по его мнению, в «Медном всаднике»; из XVIII в. указывается стихотворение М.Н. Муравьева «Богине Невы».

Уточняя эту проблему в одной из ссылок к основному тексту монографии, Топоров добавляет: «При исследовании Петербургского текста в ряде случаев нельзя пренебрегать данными, лежащими за его хронологическими пределами – как до, так и после. Что касается “до”-текстов, выступающих как субстрат, на котором, в частности, складывался Петербургский текст, то они включают в себя не только художественные произведения или так называемую петербургскую хронику (например, в «Санкт-Петербургских Ведомостях»), но и описания Петербурга с первых лет его существования, среди которых в указанном отношении особое значение имеют труды Богданова, изданные Рубаном, Георги и А.П. Башуцкого <...>. Особый круг источников образуют тексты фольклорной традиции, связанные с фигурой Петра, <...> и др.» [Топоров, 1995, с. 335].

Представляется, что среди этих «других источников», питавших почву, на которой вырос петербургский текст XIX в., свое место занимают мемуары начала XIX века.

Текст, о котором пойдет речь далее, не относится к числу самых известных в истории русской литературы первой трети XIX в. Редактор С. Никитин в предисловии к подготовленному им изданию относит это сочинение к «незаслуженно забытой русской мемуаристике, которая ... много дает для понимания тех или иных исторических событий, колорита минувшей эпохи, характера исторических деятелей, познания бытовой стороны прошлой жизни и т.п.» [Мемуары, 2000, с. 8]. В связи с обозначенной выше проблемой сочинение вообще не изучалось. Это – «Мемуары» фрейлины при дворах императриц Екатерины II, Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны Варвары Николаевны Головиной (1766 – 1819), которые она создавала, по словам их первого публикатора Е.С. Шумигорского, «главным образом для любимой ею императрицы Елизаветы Алексеевны, с ее одобрения». «Прожив большую половину жизни и желая возобновить в памяти подробности о сношениях своих с любимыми лицами, Головина начала писать свои “Записки” лишь для себя одной, но об этой ее работе узнала императрица Елизавета и пожелала познакомиться с нею. Начало “Записок” (об екатерининском времени) встретило одобрение императрицы, и, приглашая Головину продолжать “Записки”, она просила ее сообщать ей их и впредь», – пишет Е.С. Шумигорский [Исторический вестник, 1899, № 1]. К. Валишевский в «Предисловии» к своему изданию воспоминаний пишет об этом же: «Мемуары были написаны не только по просьбе, но даже, в некоторой своей части, при сотрудничестве одной высокой особы. <...> Убеждая графиню Головину заняться в свободное время составлением мемуаров, императрица Елизавета <...> предлагала не только руководить своими советами, но и документировать эти мемуары» [Мемуары, 2000, с. 21].

«Мемуары» В.Н. Головиной впервые были опубликованы в «Историческом Вестнике» в 1899 г. в переводе с французского оригинала. В предисловии к публикации Шумигорский пишет: «80 лет отделяют нас от кончины гр. В.Н. Головиной, и пора, наконец, русскому обществу познакомиться с нерукотворным памятником, воздвигнутым себе нашей благородной и симпатичной соотечественницей, пора ее имени стать наряду с именами знаменитых русских женщин-мемуаристок XVIII в.: Натальи Долгорукой, Екатерины II и княгини Дашковой» [Исторический вестник, 1899, № 1]. «Мемуары» В.Н. Головиной, действительно, чрезвычайно богаты и интересны и содержанием, и формой, но мы обратимся только к тем особенностям, которые отчетливо заявляют об этом произведении как о «до-тексте» (термин В.Н. Топорова) петербургского текста русской литературы XIX в., созданном в сложнейший период перехода отечественной словесности из века Просвещения в век сентиментализма и романтизма.

Первое упоминание о Петербурге связано у Головиной с ее знакомством с этим городом. Его восприятие воспроизводится на фоне воспоминаний о подмосковном имении отца Петровское, где она и провела «все первые годы детства»

ва», которые ассоциируются у нее с образом матери и свободой: мать «предоставляла» ей «свободно бегать одной, стрелять из лука, спускаться с горы в долину к реке, протекавшей там, гулять в начале леса, осеняющего окна помещения, занятого моим отцом, взлезать на старый дуб рядом с замком и рвать там желуди». Но девочке «было положительно запрещено лгать, злословить, относиться пренебрежительно к бедным или презрительно к ... соседям» [Мемуары, 2000, с. 14]. Здесь же приведем самое начало повествования, в котором подчеркнем мотив утраченной мечты, воображения, несбывшихся надежд: «В жизни наступает время, когда начинаешь жалеть о потерянных мгновениях первой молодости, когда все должно бы нас удовлетворять: здоровье юности, свежесть мыслей, естественная энергия, волнующая нас. Ничто нам тогда не кажется невозможным; все эти способности мы употребляем только для того, чтобы наслаждаться различным образом; предметы проходят пред нашими глазами, мы смотрим на них с большим или меньшим интересом, некоторые из них поражают нас, но мы слишком увлечены их разнообразием, чтобы размышлять. Воображение, чувствительность, наполняющие сердце, душа, по временам смущающая нас своими проявлениями, как бы заранее предупреждая, что это она должна восторжествовать над нами, – все эти ощущения беспокоят нас, волнуют, и мы не можем разобраться в них. Вот приблизительно что я испытала, вступив в свет в ранней юности» [Там же, с. 13].

Петербург встретил юную Головину праздником – ее пригласили на детский бал, присутствие на котором, однако, потребовало от нее определенных внутренних усилий: во-первых, она никогда не бывала в обществе, не умела танцевать, во-вторых, она знала, что ею «заменили захворавшую барышню», чтобы план устроительницы бала княгини Репниной «устроить кадрили из сорока пар детей» не сорвался. Но особенно сильно ее «маленькое самолюбие» было уязвлено на репетициях бала: она не могла позволить себе репетировать небрежно, как другие дети, уверенные «в своем исполнении» или, по крайней мере, думавшие так: «<...> мое маленькое самолюбие заставило меня быть очень внимательной, вспоминает Головина. – <...> Мне <...> нельзя было терять времени – оставалось всего только две репетиции; я постаралась запомнить, что мне нужно было делать, чтобы не осрамиться при моем первом дебюте в свете. Возвратясь домой, я мысленно нарисовала фигуру кадрили на паркете и проделала ее одна, напевая оставшийся в моей памяти мотив» [Там же, с. 16]. Зато на бале девушка «получила всеобщее одобрение». Императрица обошлась с ней «очень ласково», великая княгиня «полюбила» ее, «и эта любовь продолжалась шестнадцать лет», пишет Головина и вновь делает очень примечательное добавление: «но так как на свете все меняется, то и она переменялась ко мне» [Там же, с. 17].

Еще одно полудетское петербургское воспоминание мемуаристки – об ужине в малом Эрмитаже, который сохранился в памяти, потому что бывшее там общество, «состояло из генерал-адъютантов, большею частью стариков, графини Брюс, придворной дамы и друга Императрицы, фрейлин и камер-юнкеров», и потому что ужинали за механическим столом: «тарелки спускались сверху, как только дергали за веревку, проходившую сквозь стол; под тарелками были аспидные пластинки и маленький карандаш; надо было написать, что хочешь получить, и дернуть за веревку, через несколько минут тарелка возвращалась с требуемым кушаньем. Мне очень понравилось это, и веревка была в постоянном движении» [Там же].

Наконец, ранние воспоминания Головиной о Петербурге освещаются темой любви. Именно в Петербурге, во дворце, накануне Пасхи, она почувствовала, что к ней равнодушен граф Головин и что их чувства взаимны. В Зимнем дворце была отпразднована и свадьба Головиных. Однако главным образом тема любви, как и тема дружбы, связана с царскосельским, павловским, петергофским локусами повествования, в то время как петербургские сцены придворной жизни часто отмечены мотивом интриг, идеями недоверия, лжи, лицемерия и т.д.

Отношение мемуаристки к Петербургу, как видим, изначально складывается, по крайней мере, как неоднозначное, имея в подтексте ряд знаковых оппозиций: подмосковное имение – великосветский, цивилизованный город, мечты – реальность, свобода – следование жестким правилам, простота деревенского быта и провинциальных нравов – вызывающая восторг культура европейского уровня и т.п. Эта особенность, как известно, и будет в дальнейшем, наряду с другими, формировать петербургский текст русской литературы.

Центральными в «Мемуарах» Головиной, уже в 16 лет получившей «шифр фрейлины» и почти каждый день бывавшей при дворе, с самого начала повествования оказываются образы русских императоров и великих князей и княгинь, определяющих важнейшую черту ее воспоминаний о Петербурге как о столице русской монархии, где русская история и культура, по мнению мемуаристки, переживали лучшие свои периоды. Описание придворной жизни складывается из картин бала, великосветских приемов, театральных представлений, концертов, «великолепных праздников», которые устраивали императоры и императрицы, а также наследники трона, из образов иностранцев, приезжавших «посмотреть на Екатерину Великую и подивиться ей» [Мемуары, 2000, с. 20], а позже для контактов с Павлом I, великими князьями и княгинями. Заметим попутно, что иностранцы при императорском дворе – это особая тема у Головиной, на которой мы не имеем возможности остановиться подробно, но лишь укажем, что мемуаристка последовательно подчеркивает важность роли, которую они играли в жизни Петербурга и царской семьи.

На общем фоне заметно выделяется время правления Екатерины Великой: «Эта эпоха была самой блестящей в жизни двора и столицы: все гармонировало; общий тон общества был великолепен», – пишет мемуаристка [Там же]. При этом Головиной очень важно описать ее личные отношения с императрицей. Весьма показательна в этом плане, например, сцена упоминавшегося выше празднования ее свадьбы:

Ее Императорское Величество надела бриллианты на прическу. Гувернантка, фрейлина баронесса Мальтиц, подала их на платье. Императрица, кроме обыкновенных драгоценностей, прибавила еще рог изобилия. Это не ускользнуло от баронессы, любившей меня, и она сделала замечание. Ее Императорское Величество ответила, что это украшение служило ей и она выделяет им тех из невест, которые ей больше нравятся. Я покраснела от удовольствия и благодарности. Императрица заметила мою радость и, ласково подняв мой подбородок, сказала: «Посмотрите на меня; вы вовсе недурны». Я встала; она провела меня в свою спальню, где были образа, и, взяв один, приказала мне перекреститься и поцеловать его. Я бросилась на колени, чтобы принять благословение Ее Величества; она обняла меня и взволнованно сказала: «Будьте счастливы; я желаю вам этого как мать и государыня, на которую вы всегда должны рассчитывать». Императрица сдержала свое слово; ее милостивое отношение ко мне продолжалось, всё возрастая, до самой ее смерти [Там же, с. 22].

Описание очевидно указывает, во-первых, на идеализацию образа Екатерины II в духе сентиментализма и, во-вторых, на изображение исторического лица «домашним образом», сквозь призму личностных качеств.

Не менее важное место в «Мемуарах» Головиной занимает образ принцессы Луизы, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны, принципы изображения которой повторяют вышеназванные. Любопытно, что первое упоминание о принцессе связано с описанием ее первых впечатлений о Петербурге, очень близком к рассказу мемуаристки о своем знакомстве с городом. Причем автор «Мемуаров» указывает, что «принцесса Луиза сама рассказывала ей о своем приезде в Петербург», и рассказ этот передан от 1-го лица. В нем подчеркивается страх, который был испытан при въезде в ночной Петербург, жесткий этикет в придворных отношениях, который принцесса по своей непосредственности тут же и нарушила,

чего она, набравшись светского опыта, никогда больше себе не позволяла, долгая и утомительная подготовка к встрече с великим князем («Весь день прошел в том, что нас причесывали по придворной моде и одевали в русские платья. Я в первый раз в жизни была в фижах и с напудренными волосами»), наконец, холод самой встречи, неприязненный взгляд великого князя, который во весь вечер не сказал принцессе ни слова, не подошел к ней, «видимо избегая ее» [Мемуары, 2000, с. 42, 43, 44]. Чуть далее уже Головина рассказывает о том, как, впервые участвуя в аудиенции иностранным делегатам в качестве невесты великого князя, принцесса Луиза, обходя трон, «запуталась ногой в нитях бахромы бархатного ковра и упала бы, если бы Платон Зубов не поддержал ее», что привело ее в отчаяние, тем более, что «нашлись ... люди, которые сочли это дурным предзнаменованием» [Там же, с. 45]. Здесь, во-первых, реализуется один из выведенных В.Н. Топоровым законов петербургского текста – закон импликации городом своих собственных описаний.

Во-вторых, в связи с этим, подчеркнем в воспоминаниях принцессы Луизы, прибывшей в Петербург из принципиально иного пространства, тот же переход, что пережила и Головина – от разочарования к мотивам любви, счастья, гармонии («Однажды вечером, когда мы рисовали вместе с остальным обществом за круглым столом в бриллиантовой комнате, Великий Князь Александр подвинул мне письмо с признанием в любви, которое он только что написал. Он говорил там, что, имея разрешение своих родителей сказать мне, что он меня любит, он спрашивает меня, желаю ли я принять его чувства и ответить на них, и может ли он надеяться, что я буду счастливой, выйдя за него замуж. Я ответила утвердительно, также на клочке бумаги, прибавляя, что я покоряюсь желанию, которое выразили мои родители, посылая меня сюда. С этого времени на нас стали смотреть как на жениха и невесту» [Там же, с. 44]). Примечательно, что в дальнейшем повествовании не раз еще будут зафиксированы подобные и обратные переходы, которые были пережиты и великой княгиней, и Головиной, и которыми была отмечена их дружба. Известно, что именно такая «смысловая структура особой напряженности», создаваемая введением в единый текст противоположностей, как раз и будет характерной для петербургского текста, передающего «презумпцию исключительности Петербурга». «На почве этих идей в определенном контексте русской культуры как раз и сложилось ... противопоставление Петербурга Москве», – замечает исследователь [Топоров, 1995, с. 269].

Особенно яркими в этом отношении в «Мемуарах» Головиной являются страницы, описывающие коронацию Павла I, проходившую в Москве весной 1797 г. Одним из знаков, передающих общий смысл восприятия мемуаристкой Москвы, является Петровский дворец, в котором остановилась царская семья, прибывшая для важнейшей церемонии в Москву. Этот дворец был построен Екатериной, чтобы, по выражению мемуаристки, «служить временным помещением. ... Впоследствии в нем жил Бонапарт, и дворец был сожжен его спутниками*». В примечании автора уточняется: «*Это лучшее, что могло случиться, потому что он осквернил его своим присутствием» [Мемуары, 2000, с. 158]. Явно отрицательная коннотация данного высказывания поддерживается дальнейшим описанием здания, в котором подчеркивается бесформенность («производит впечатление бесформенной массы»), «печальный вид», плохая расположенность, окруженность некрасивым пейзажем («из дворца видно большую дорогу, проходящую по довольно голой равнине»), неудобство внутреннего устройства («кроме Государя и Государыни, у всех были плохие помещения и оттого дурное настроение»). К этому присоединяются плохие дороги («однажды вечером, когда возвращались ночью по дороге, ставшей невозможной от оттепели, карета, в которой сидели Государь, Государыня, оба Великих Князя и Великая Княгиня Елизавета, каждую минуту была готова опрокинуться»), плохое настроение императора и императрицы и т.д. [Там же, с. 159].

Москва явно противопоставляется европейскому цивилизованному Петербургу как неустроенная полуазиатская провинция. Но при этом Москва как бы достраивает Петербург до того целого, что собою представляет Россия, русская история, до целого, органично, изначально сочетающего в себе два пути существования и развития. Потому так важны в «Мемуарах» Головиной описания подмосковных монастырей, церкви которых построены по образцу иерусалимских храмов; Кремля, с его соборами и дворцом, возвышающимся над всей Москвой и заставляющим испытывать «мгновения невольного энтузиазма», воспоминание о котором никогда «не изглаживается из памяти» [Мемуары, 2000, с. 163]; дворца князя Безбородко, который находился «в одном из самых красивых кварталов», но вопреки всем правилам градостроения, «на окраине города», а «около него был маленький сад, отделенный бассейном от дворцового сада, прекрасного места общественного гулянья» [Там же, с. 162], и, конечно, самого обряда коронации, проходившей в Успенском соборе в день Святой Пасхи в присутствии большого количества публики. Мемуаристке запомнились семиотически богатые детали: многочисленные награждения и повышения по службе, приуроченные к коронации, нескончаемый поток просителей, ежедневно приходивших к Павлу I, прозвучавший сразу после коронации царский указ, который утверждал престолонаследие только по мужской линии, а также то, что женщина не может занимать русский престол. Поздравления их Величества, вспоминает мемуаристка, принимали в течении двух недель, а все празднование в целом, закончившееся прогулкой их Величеств в дворцовом саду и на общественном гулянье, а также маскированным балом, на котором следовало быть не по приглашению, а по приказу полиции («тот, кто отказывался подчиниться ему, заносился на особый лист, и, таким образом, об этом доходило до сведения Государя» [Там же, с. 169], описывается широким, масштабным, грандиозным, шокирующим иностранцев отсутствием меры и вызывающим в силу этого злые замечания и насмешки придворных и самого императора.

В свете поставленной проблемы следует обратить внимание и на удивительное семантическое единообразие в «Мемуарах» Головиной фрагментов, передающих мифы петербургской придворной жизни. Практически все они связаны с темой жизни и смерти и обладают высокой степенью знаковости, открывая более глубокие уровни и текста, и авторского сознания. Остановимся на том, что занимает в произведении центральное место, раскрывает авторское историософское осмысление Петербурга, а через него и всей России – на мифе о правлении Екатерины как о «золотом веке» русской истории, отмеченном множеством внешних и внутренних реформ, расширением пределов Российской империи, расцветом русской культуры. Мифологизация фигуры императрицы началась буквально с первых страниц произведения. С одной стороны образ Екатерины II для автора мемуаров – это «великие и прекрасные качества» ее личности, формирование которых она связывает с идеей образования, с ее увлечением просветительской идеологией. В.Н. Головина настойчиво подчеркивает необычайную доброту, великодушные Екатерины II и вместе с тем «твердость характера Императрицы в ее заботах о государстве». В доказательство того и другого приводится множество примеров из жизни императрицы, из истории ее политики. С другой стороны, Екатерина Великая окружена в воспоминаниях Головиной тайнами, предчувствиями, события ее жизни осознаются как проявление некой высшей силы, а сама она – как символ не только конкретного исторического этапа, но определенного закона и пути развития России и истории вообще. Особенно это заметно в рассказе о смерти государыни, явившемся кульминацией мифа о ней.

Так, первым предзнаменованием своего конца сама императрица посчитала убийство Петра III, рассказ о котором, в свою очередь, тоже передан в «Мемуарах» как миф, рассказанный Головиной «однажды вечером» графом Паниным:

...князь Орлов пришел известить ее (императрицу – *И.А.*), что все кончено. Она стояла посреди комнаты; слово кончено поразило ее. – Он уехал! – возразила она сначала. Но, узнав печальную истину, она упала без чувств. С ней сделались ужасные судороги, и одну минуту боялись за ее жизнь. Когда она очнулась от этого тяжелого состояния, она залилась горькими слезами, повторяя: «Моя слава погибла, никогда потомство не простит мне этого невольного преступления» [Мемуары, 2000, с. 48].

Далее в рассказе о смерти императрицы мифологизируются и символизируются почти все детали. Событие, с которого началась болезнь Екатерины, приведшая ее к смерти, случилось через несколько дней после рождения у великой княгини сына Николая, с чем Головина связывает окончательный поворот и своей личной жизни, и общей истории, символом которой выступает Петербург, в иную, по сравнению с екатерининской, в «мужскую» сторону. Именно с окончанием екатерининской эпохи Петербург в изображении мемуаристики начинает вбирать в себя, говоря словами В.Н. Топорова, «всё мужское, всё разумно-сознательное, всё гордое и насильственное в душе России», что передается в тексте и множественном деталях-символов, и открытыми высказываниями автора.

Трагедия началась с того, что государыня узнала о жестокости, проявленной великим князем Константином к гусару и после приказа посадить сына под арест заболела. Вскоре в разговоре о строительстве арки, которая соединила бы салон и сад, она неожиданно сказала Головиной, испытывавшей «мрачные предчувствия»: «Когда я прихожу на трибуну, у меня уже больше нет сил стоять. Если я умру, я уверена, что это вас очень огорчит...» [Там же, с. 120]. Через некоторое время, ожидая приезда Екатерины на прием шведского короля, «в тот момент, как показалась ее карета, видели, как поднялась на небе падающая звезда (comete) и исчезла за крепостью» [Там же, с. 124] и т.д.

Сама сцена мучительного умирания государыни и прощания с нею наполнена внутренним смятением нарратора, пораженного высокой и таинственной сверхличной сутью происходящего и необычайно низкой, мирской суетой большинства присутствовавших при этом событии. Главным критерием оценки всех и всего в этот момент у Головиной выступает совесть, в свете которой абсолютным кошунством, попиранием высшей сути и в то же время чем-то мистическим, несущим в жуткой форме некую вечную истину, осознается ею поступок Павла I, приказавшего извлечь из могилы гроб с прахом убитого заговорщиками отца, Петра III, и установить его в зале прощания рядом с гробом Екатерины. «Все было величественно, красиво и религиозно, но гроб с прахом Петра III, стоявший рядом, приводил душу в возмущение. Это было оскорбление, которого и могила не может стереть; это кошунство сына над матерью терзало душу. <...> Ночь еще более усилила это зрелище, и казалось, что истина является во всем своем блеске. <...> Я чувствовала желание умереть, как потребность в любви. Божественные слова Евангелия проникали мне в душу. Все казалось мне ничтожным вокруг меня. Бог был в моей душе и смерть перед глазами. Я долгое время была как бы без чувств, закрыв лицо руками. Подняв голову, я увидела Толстую, освещенную лунным светом, падавшим через окно наверху. Этот мягкий спокойный свет давал великолепный контраст с освещением, сосредоточенным в середине этой как бы часовни. Вся остальная часть этого обширного зала была погружена во мрак» [Там же, с. 147–148].

В созданном мемуаристкой мифе о смерти великой государыни, как видим, слились воедино вечно противоборствующие бытийные начала: зло, безнравственность и совесть, грубый рационализм, материализм и высокая духовность, мысли о личной выгоде и об общем благополучии, сиюминутное и непреходящее, все то, что обнаруживает высшее петербургское общество, лицо Петербурга, в экзистенциальные моменты. Очень показательно, что миф о Екатерине завершается сценой, отмеченной авторской установкой на сохранение высших ценностей в любых обстоятельствах. В качестве финального аккорда мемуаристики вводится

рассказ о представлении новому императору, следовавшем сразу после похоронной церемонии. Во время церемонии она, в отличие от многих придворных, не упала на колени перед новым императором, а «поклонилась, как всегда, и собиралась взять руку Императора, который быстро отдернул ее. От этого быстрого движения он так звучно поцеловал меня в щеку, что рассмеялся. Он сильно уколол меня своим подбородком, который он, вероятно, не брил в тот день. Я была слишком огорчена тогда, чтобы почувствовать смешную сторону этой сцены. Старые дамы бранили меня, что я не последовала их примеру. Я отвечала им, что никогда не может быть уважения большего, чем мое к Императрице Екатерине, но что я никогда не валялась на земле перед ней и что я не могла и не должна была делать этого перед ее сыном. Я не знаю, быть может, они почувствовали справедливость моего убеждения, но только преклонения прекратились» [Мемуары, 2000, с. 149].

Значительно менее развиты в «Мемуарах» Головиной субстратные элементы петербургского текста, относящиеся к природной и материально-культурной сферам и создающие ощущение миражности, фантастичности и фантазмагоричности Петербурга. Идея полярности и вместе с тем диалектики природы и культуры и их взаимодействия у Головиной практически не звучит. Обращение к теме природы, погоды, описания садов и парков, внешнего и внутреннего устройства зданий, как правило, связаны с царскосельским, петергофским, павловским локусами. Причем очевидно, что мемуаристка подключается здесь к традиции русской лирики (см. об этом, например: [Анненский, 1979; Голлербах, 1993; Жуковский, 1999, 2000; Лейбов; Лихачев, 1982; Сахарова, 2007; Царское Село в поэзии, 1922] и др.). Не сложились, во всяком случае, как система, в рассматриваемом произведении и способы языкового кодирования составляющих петербургский текст. Вместе с тем, здесь отчетливо отражена квинтэссенция жизни так, как в дальнейшем она будет запечатлена в петербургском тексте русской литературы – в состоянии «на отлете», «на краю», над неизвестностью, и одновременно проговариваются пути к спасению. Здесь очевидна и «предсказующая роль» текста, звучащего как предчувствие русской истории, рассматриваемой сквозь призму имперского и императорского Петербурга. Все это, как нам представляется, позволяет назвать «Мемуары» В.Н. Головиной «до-текстом» петербургского текста русской литературы, имеющим значение в его генезисе.

Литература

- Анненский И.Ф. Пушкин и Царское Село // Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979.
- Голлербах Э.Ф. Город муз. Царское Село в поэзии. СПб., 1993.
- Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. М., 1999. Т. 2. М., 2000. Примечания к текстам стихотворений.
- Исторический вестник. 1899. № 1.
- Лейбов Р.Г. Воспоминания о воспоминаниях в Царском Селе: два пейзажа Тютчева. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/landscape.html>. Дата обращения: 1.06.2010.
- Лихачев Д.С. Пушкин и «сады Лицея» // Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., 1982.
- Мемуары графини Головиной. Записки князя Голицына. М., 2000 (публикуется по изданию: Мемуары графини Головиной, урожденной княжны Голицыной. С предисловием и примечанием К. Валишевского. М, 1911).
- Сахарова Е.В. Садово-парковый топос в русской литературе первой трети XIX века: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2007.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
- Царское Село в поэзии. СПб., 1922.